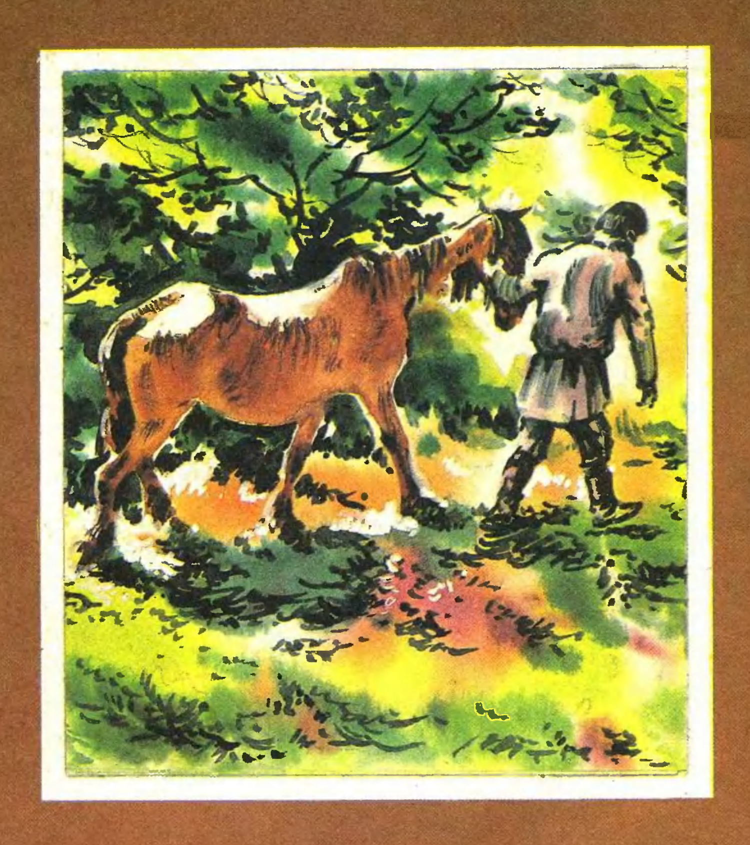
КНИГА ЗА КНИГОЙ



В. М. Гаршин

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Издательство
„Детская литература"

КНИГА ЗА КНИГОЙ



В. М. ГАРШИН

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Сказки и рассказ

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р1
Г21

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие и составление
Р. Красновской

Рисунки В. Бастрыкина

Гаршин В. М.
Г21 То, чего не было: Сказки и рассказ /Предисл. и сост. Р. Красновской; Рис. В. Бастрыкина.— М.: Дет. лит. 1984.— 48 с. ил.— (Книга за книгой).

10 к.

Эта книжка научит читателя пристально вглядываться в окружающий его мир, любить добро и ненавидеть жестокость.

Г $\frac{\textbf{4803010101—502}}{\textbf{М101(03)84}}$ 155—84 **Р1**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Много лет назад в одном из имений Харьковской губернии под названием «Приятная долина» родился мальчик. Наступал второй день февраля 1855 года, на улице светало, во дворе позвякивали вёдра: бабы собирались за водой. Все дворовые и прислуга говорили, что это хороший знак для новорождённого. По старой народной примете выходило, что человек он будет не простой, славный путь предстоит ему, и много на его веку будут говорить о нём. Одного бабки не угадали: короткий век был отпущен будущему писателю. На тридцать третьем году жизни, в марте, когда снег чернел и таял, а в воздухе чувствовалась весна, Гаршин умер. Это было в 1888 году.

Отец писателя был небогатым офицером, вскоре после рождения сына он вышел в отставку и купил дом в степном городке Старобельске. Там прошло детство будущего писателя.

Всеволод Гаршин рос вдумчивым и мечтательным мальчиком. Он рано выучился читать. Когда ему было пять лет, его мать уехала со старшими братьями в Петербург. Печальные годы разлуки с матерью, тихие долгие вечера с отцом коротал мальчик за книгой. Много лет спустя Гаршин вспомнит это время: «Помнишь ли ты себя маленьким ребёнком, когда ты жил с отцом в глухой забытой деревушке? Помнишь, как вы сидели вдвоём в долгие зимние вечера, он — за счётами, ты — за книгой. Сальная свеча горела красным пламенем, понемногу тускнея, пока ты, вооружась щипцами, не снимал с неё нагар». Годы, проведённые с отцом,— это не только чтение книг; это деревня,

безбрежное раздолье степи, её шорохи, воздух, зверушки... Маленький Всеволод целыми днями бродил по окрестностям, собирал грибы, возился с жуками, ящерицами, лягушками, наблюдал повадки зверей. Любовь к природе, зародившуюся здесь, среди степных просторов, сохранит он на всю жизнь.

Не удивительно, что всё так достоверно и живо в сказках Всеволода Гаршина. Вы не увидите в них «сказочных» деревьев и цветов, не попадёте в тридевятое царство, не встретите знакомых вам по другим сказкам Бабу Ягу и Змея Горыныча. Нет, обычные утки, лягушки, ящерицы, да розовый куст в тени дачного участка, да копна сена, пересохшего от жары. Всё это знакомо и всё узнаваемо в сказках Гаршина. Обычны и названия деревень: Лупаревка, Ефимовка, Свято-Троицкое, Богоявленск... Необычно только то, что простая роза умеет чувствовать и думать, она стремится к солнцу и добру, а улитки, муравьи, мухи и кони рассуждают о жизни. А за всеми этими героями — сам писатель. Его доброта, огромный талант сострадания, потребность откликнуться на чужую боль. Великая любовь к природе и человеку, ненависть к жестокости и тоска по разумному и справедливому обществу — основной мотив его творчества. Откройте любой рассказ или сказку Гаршина, и вы убедитесь, что это так, и, может быть, даже узнаете про «то, чего не было»...

Р. Красновская



СКАЗКА О ЖАБЕ И РОЗЕ

Жили на свете роза и жаба.

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решётка с колышками, обделанными в виде четырёхгранных пик, когда-то выкрашенная зелёной масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решётки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелёными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника (вокруг него был большой тенистый

сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Жёлтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки ещё выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться её тёмною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг неё всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего её тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был её словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несётся этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже



давно никто не ходил. Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашёл маленький мальчик, который целое лето сидел в нём каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесённую с собою книжку.

— Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? — спрашивает из окна сестра.— Может быть, ты с ним побегаешь?

— Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окружённым мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам — травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелёными щитиками своей спины;

а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится,— громко сказала сестра.

И ёжик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверёк ещё больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда ёж попробовал молока из принесённого хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

— Маша! — вдруг шепчет он сестре.

— Что, милый?

— Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щёку и при этом незаметно стирает слезинку.

— Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдём туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

— Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце; он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребёнка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Её заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

— Постой,— прохрипела она,— я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг неё, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших её своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

— Я тебя слопаю! — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило ещё ужаснее, и переползла поближе к розе.

— Я тебя слопаю! — повторяла она, всё глядя на

цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: её плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

— Господи! — молилась она,— хоть бы умереть другою смертью!

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Тёмно-зелёная гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок.

— Я сказала, что я тебя слопаю! — повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; её царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего её и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза почти забыла о своём враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчёлы, жужжа, садились иногда в её раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от жёлтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поёт для неё, а может быть, это была и правда. Она не видела, как её враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни

лапок, ни брюха: кровь покрывала её, но она храбро лезла всё вверх — и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на неё с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает...

* * *

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у неё лежала развёрнутая книга, но она не читала её. Понемногу её усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша,— вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовёт её. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну?

— Можно, голубчик, можно! — Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

— Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе её сюда на столик в стакане? Да?

— Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило её, и от свежего воздуха у неё слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.



— Ах, какая гадость! — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула её: жаба свалилась на землю и шлёпнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать ещё раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

— Дай её мне,— прошептал он.— Я понюхаю.

Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла подвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

— Ах, как хорошо...

Потом его личико сделалось серьёзным и неподвижным, и он замолчал... навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срезали недаром. Её поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а

розу молодая девушка, когда ставили её на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с её щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, её положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.

1884 г.





ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась тёплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она.— Какое это наслаждение — жить на свете!»

Дождик моросил по её пёстренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не квакают,— на это есть весна,— и что, заквакав, она может уронить своё лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью — раздаётся в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них.— Лететь ещё далеко; надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть её, большую и толстую квакушку, но всё-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка.— Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка,— что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть её, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные тёплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всё-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! целые тучи! — отвечала утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.

— Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка.— Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

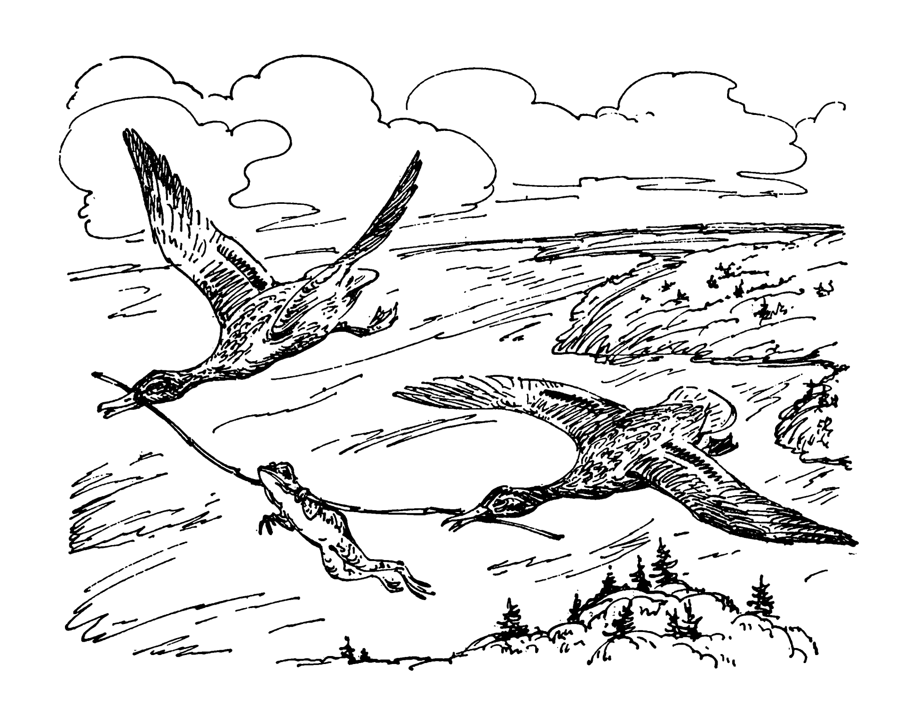
— Скоро, скоро! — закричали все утки.— Кря, кря! кря! кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять минут,— сказала лягушка,— я сейчас вернусь, я наверно придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлёпнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась её морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она.— Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хоть бы и лёгкую лягушку три тысячи вёрст не бог знает какое удовольствие, но её ум привёл уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести её. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да ещё столько, да полстолька, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести её приходилось не особенно часто. Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую её подняли; кроме того, утки



летели неровно и дёргали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что всё-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала»,— думала она про себя.

А утки летели вслед за нёсшей её передней парой, кричали и хвалили её.

— Удивительно умная голова наша лягушка,— говорили они,— даже между утками мало таких найдётся.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со

страшной высоты, ещё крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день: нёсшие её утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик; это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарёю утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперёд, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на неё руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что об ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне.— Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у неё прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые.— Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне.— Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками

на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где твёрдая дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всё горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из неё, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные тёплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте,— сказала она.— Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели её.

1887 г.



ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

В один прекрасный июньский день,— а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру,— в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было ещё жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Всё почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в чёрную жирную грязь, причём из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пятачки с двумя ды-

рочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зёрнышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во всё горло кричал: «какой ска-ан-да-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел, гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьёзная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повёрнутым к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри тёмно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевлённо спорила, причём, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

— По-моему,— говорил навозный жук,— порядочное животное прежде всего должно заботиться о своём потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твёрдой почве: он знает своё дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжёлый шар — шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы

сказать: «да, я сделал всё, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

— Поди ты, братец, с своим трудом! — сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отёр пот со своего измученного лица.— И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, всё равно, для своих жученят; не все так счастливы... попробовал бы ты потаскать брёвна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасиба не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, всё трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

— Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь,— возразил им кузнечик.— Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а вы говорите о своём навозном шаре; это даже невежливо. Мир — мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нём есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с неё-то вижу, что миру нет конца.

— Верно,— глубокомысленно подтвердил гнедой.— Но всем вам всё-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своём веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста...[1] За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день езжу

[1] Верста — старинная мера длины, чуть больше километра.



с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве,— это такой город, двадцать восемь вёрст отсюда,— так там сено лучше и овёс дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом... А то есть ещё Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже... Да только куда вам понять всё это! Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да всё-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него всё ещё шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это всё равно, что для человека семьдесят седьмой.

— Я не понимаю ваших мудрёных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними,— сказала улитка.— Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он всё ещё не кончается. А за этим лопухом есть ещё лопух, а на том лопухе, навер-

но, сидит ещё улитка. Вот вам и всё. И прыгать никуда не нужно — всё это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит и больше ничего.

— Нет, позвольте, отчего же? — перебил кузнечик,— потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница...

— Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! — жалобно воскликнула гусеница.— Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой там ещё будущей жизни? — спросил гнедой.

— Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

— К твёрдым убеждениям нужно относиться с уважением,— затрещал наконец кузнечик.— Не желает ли кто сказать ещё что-нибудь? Может быть, вы? — обратился он к мухам. И старшая из них ответила:

— Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в вареньи, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

— Господа,— сказала ящерица,— я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало её хвост к земле.

Это пришёл за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил её. Одни мухи улетели обсасывать свою мёртвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повёл его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причём приговаривал: «ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой отвечал только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

— Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.

1882 г.





МЕДВЕДИ

На степной речке Рохле приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излучин, соединённых протоками; всё сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки, кажется целым бантом из голубых лент. Этот высокий берег подымается над уровнем Рохли сажен[1] на пятьдесят и точно срезан огромным ножом так круто, что взобраться от воды наверх, туда, где начинается бесконечная степь, можно, только хватаясь за кусты бересклета, дерезы и орешника, густо покрывающих склон. Оттуда, сверху, открывается вид вёрст на сорок кругом. Направо к югу и налево на север тянутся холмы правого берега Рохли, круто спускающиеся в долину, как тот, с которого мы смотрим, или отлогие; некоторые из них белеют своими обнажёнными от почвы меловыми вершинами и скатами; другие покрыты по большей части чахлой и низкой травой. Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то жёлтая от

[1] Сажень — старинная мера длины, равна 2,1336 метра.

сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-чёрная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих, невидимых, глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханный и вросший в землю курган[1], уже без каменной бабы[2], которая, может быть, украшает в качестве скифского[3] памятника двор Харьковского университета, а может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины.

Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера на юг, то отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под самою кручею. Она окаймлена кустами лозняка, кое-где сосною, а около города выгонами и садами. В некотором расстоянии от берега, в сторону степи, тянутся сплошной полосой почти по всему течению Рохли сыпучие пески, едва сдерживаемые красною и чёрною лозою и густым ковром душистого лилового чабреца. В этих песках, верстах в двух от города, приютилось и городское кладбище; с высоты оно кажется маленьким оазисом с возвышающеюся над ним деревянной колоколенкой кладбищенской церкви. Сам город не представляет собою ничего особенно выдающегося и очень похож на все уездные города; впрочем, он выгодно отличается от своих собратий удивительною чистотою улиц, происходящею не столько от заботливости городского управления, сколько от песчаной почвы, на которой выстроен город; почва эта всасывает решительно всякое количество влаги, какое может произвести разгневанное небо, и тем приводит в большое затруднение городских свиней, которые должны отыскивать себе удобное помещение по

---

[1] Курган — надмогильная насыпь из земли и камня.

[2] Каменные бабы — каменные изваяния от 1 до 4 метров высоты.

[3] Скифский, скифы — древние степные племена.

крайней мере за две версты от города, в грязных, илистых берегах реки.

В сентябре 1875 года Бельск был необыкновенно взволнован. Обычная тишина жизни нарушилась; повсюду: в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах, происходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что происходившее в это время земское собрание[1] с выборами заставило так волноваться жителей, но бывали и прежде земские собрания — и с выборами и со скандалами — и не производили никакого особенного впечатления на бельчан. Иногда только встретившиеся на улице граждане обменяются короткими фразами:

— Были? — спросит один, указывая взорами на дом, где помещалась земская управа.

— Был! — ответит другой и при этом махнёт рукою. А привыкший к способу выражения мыслей собеседник поймёт без слов, в чём дело, и промолвит:

— Кто?

— Иван Петрович!

— Кого?

— Ивана Парфёныча.

Посмеются и разойдутся.

Но теперь было не то. Город шумел, как во время ярмарки. Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад; солидные люди в широких летних парусинных[2] и сырцовых[3] шёлковых костюмах направлялись туда же. Городские барышни с зонтиками, в разноцветных «панье»[4] (тогда их носили), занимали собою всю ширину улицы, так что катавшийся в кабриолете[5] на сером в яблоках не коне, а звере молодой купец Рогачов должен был натягивать вожжи и почти прижиматься к мазаным стенам

---

[1] Земское собрание — распорядительный орган местного самоуправления в царской России.

[2] Парусиновые — тяжёлая плотная льняная или полульняная ткань.

[3] Сырцовые — шёлковая или хлопковая необработанная ткань (сырец — что-либо сырое, необделанное).

[4] Панье — широкие юбки с буфами.

[5] Кабриолет — лёгкий двухколёсный экипаж без сиденья для кучера.

домов. Барышень сопровождали местные кавалеры в сереньких пальто, с чёрными бархатными воротниками, с тросточками, в соломенных шляпах и — у кого были — в фуражках с кокардами. Братья Изотовы, коноводы всех общественных увеселений, умевшие во время кадрили кричать: «гранрон!»[1] и «оребур!»[2], неизменно присутствовали здесь, если не бегали по городу, сообщая знакомым дамам свежие новости.

— Из Валуйского уезда пришли! Полвыгона заняли, до самой реки,— говорил старший, Леонид.

— Я обозревал вид с вершины *пристена,*— прибавил младший, Константин, любивший выражаться изысканно.— Картина замечательная!

Пристеном назывался тот самый холм, откуда открывается вид на город и окрестности.

— Ах, какая мысль! Представьте! Знаете что: прикажем заложить линейку[3] и поедем на пристен. Это будет вроде пикника[4]. И посмотрим оттуда.

Это предложение первой дамы Бельска, жены брата казначея (почти весь город звал её мужа, Павла Ивановича, братом казначея), дамы, приехавшей лет восемь тому назад из Петербурга и потому владычицы мод и хорошего тона, встретило общее сочувствие. Заложили толстого гнедого в экипаж, который попадается только в уездных городах и состоит из длинных дрог с двумя длинными подножками, так что едущие помещаются в два ряда, по шестисеми человек в каждом, и сидят друг к другу спиной; компания человек в двенадцать уселась на него и поехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды

---

[1] Гранрон — шире круг.

[2] Оребур — в обратную сторону во время танца объявлялись по-французски названия фигур.

[3] Линейка — многоместный открытый экипаж, в котором пассажиры садятся по обе стороны боком к направлению движения; заложить линейку — запрячь.

[4] Пикник — загородная увеселительная прогулка компанией с завтраком на открытом воздухе.

барышень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выгону. Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала через мост и направилась к высокому правому берегу реки. Гнедой упорным шагом, морща лоснившуюся шкуру своих ляжек, взобрался на двухвёрстный подъём, и через полчаса путешественники сидели на краю заросшего кустами пятидесятисаженного крутого склона и смотрели на знакомый вид. Внизу, под их ногами, под самой стеной, тихо текла подошедшая в этом месте река, а за нею расстилался выгон, на который и было устремлено общее внимание.

Он пестрел, как огромный ковёр из лоскутьев. Видны были грязно-белые палатки, множество повозок, толпы пёстрого народа: тёмные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи, яркие жёлтые и красные одежды женщин; толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган. Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день, на высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы, тяжёлые удары молота о мягкое железо, конское ржанье и рёв десятков приведённых из нескольких уездов цыганских поильцев и кормильцев — ручных медведей.

Ольга Павловна смотрела на эту пестроту в бинокль и восхищалась.

— Ах, как это интересно! Какой большой! Посмотрите, Леонид, какой большой медведь, там, направо. И рядом с ним молодой цыган — совершенный Адонис![1]

Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел фигуру стройного и очень грязного юноши, который стоял около зверя, переваливавшегося с лапы на лапу, и ласкал его.

— Позвольте и мне,— сказал толстый бритый господин в парусине и соломенной шляпе. Он внимательно смотрел несколько времени и, обернув-

[1] Адонис — финикийский бог умирающей и воскресающей растительности. Здесь: прекрасный юноша.

шись к Ольге Павловне, сказал с тяжёлым вздохом:

— Да-с, Ольга Павловна, Адонис. Но какой, я вам доложу, из этого Адониса конокрад выйдет — первый сорт.

— Mon Dieu![1] вы непременно стараетесь перевести на прозу всякую поэзию. Почему конокрад? Я не хочу этому верить. Он так хорош.

— Хорош-то хорош... но как ему прикажете поддерживать своё прекрасное тело без этого медведя? Вот перебьют их завтра, и из этой тысячи цыган половина пойдёт по миру.

— Они могут ковать, предсказывать...

— Предсказывать! Был у меня вчера Илья-коновал[2]: вот поговорите с ним. «Хороши, говорит, у вас, Фома Фомич, серые, да только берегите от нашего брата».— «А что, говорю, не ты ли стащишь?» Ухмыляется, каналья! Предсказывать! Вот у него прорицания какие!

От линейки отвязали большую корзину, из которой появились яства и пития, и общество начало насыщаться, весело болтая и почти не обращая внимания на расстилавшуюся у их ног картину. Солнце садилось, огромная тень от холма быстро бежала на выгон, на город, на степь; очертания сглаживались, и, как это бывает на юге, день быстро сменился ночью. Далёкие извивы реки заблестели холодным лунным светом; в городе показались огоньки; в цыганском таборе зажгли костры, красневшие сквозь туман, подымавшийся с уснувшей реки под пристеном. А наверху Константин и Леонид наперерыв рассказывали смешные анекдоты; Ольга Павловна изредка снисходительно улыбалась; барышни громко хихикали и иногда прыскали. Зажгли свечи в стеклянных колпаках; кучер и горничная раздували в кустах самовар, причём последняя по временам отчего-то

---

[1] Боже мой! *(франц.)*

[2] Коновал — простой, неучёный конский лекарь.

взвизгивала, впрочем, весьма осторожно. Толстый Фома Фомич долго молчал и наконец перебил анекдот Леонида на самом интересном месте.

— Когда же, наконец, назначена эта медвежья казнь? — спросил он.

— В среду утром,— разом ответили братья Изотовы.

С четырёх уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим скарбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных стариков в поседевших и выцветших шкурах, было собрано на городском выгоне. Цыгане с ужасом ждали решительного дня. Многие, пришедшие первыми, жили на городском выгоне уже недели две; начальство ждало прихода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устроить разом большую казнь. Им было дано пять лет льготы после выхода закона, прекратившего промысел ручными медведями, и теперь срок этой льготы истёк: цыгане должны были явиться в назначенные для сбора пункты и сами перебить своих кормильцев

Они в последний раз совершали свой поход по деревням с знаменитою козою и её барабанщиком, непременными спутниками медведей. В последний раз, завидев, как они спускаются со степи в яр[1], где обыкновенно расположены украинские слободы[2], толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за версту навстречу и с ликованием возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое торжество.

Да, это было торжество! Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба, то перед панским домом, и

Я р —глубокий заросший овраг.

² Слобода — так в России называли посёлки около города.

начиналось представление, леченье, торговля и мена, гаданье, ковка лошадей и починка телег; и чего-чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу, на толóку, растягивали там свои палатки или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа.

— Ну, пора, пора,— говорит мне, маленькому мальчику, отец.

— Ещё немножечко, ещё немножечко...

И отцу самому не хотелось уезжать. Мы сидели с ним на беговых дрожках; старый мерин Васька, повернув голову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая; огни табора бросали дрожащий красный свет и неопределённые колеблющиеся тени; лёгкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась степь. Тёмные крылья ветряной мельницы рисовались на небе; за нею уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-серым сумраком. Шум табора не заглушал тихих и чистых звуков степной ночи: то донесётся из далёкого пруда торжественный, звонкий хор лягушек, то звенящим треском раздастся мерный и торопливый крик дергача, то перепелы начнут кричать своё «пить пойдём! пить пойдём!», то откуда-то долетят непонятные, неведомые звуки, слабые и гармоничные; что это? звук ли далёкого колокола, принесённый лёгким ветерком, или голос природы, языка которой мы не понимаем?..

Но в лагере всё успокаивается; понемногу тушат ненужные огни; медведи, ворочаясь, звякают своими цепями и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы; цыгане укладываются спать. Один из них отошёл в сторону и горловым тенором запел странную песню на родном языке, не похожую на песни московских цыган и опереточных певиц, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донёс-

шуюся откуда-то из неизвестной темноты... Никто не знает, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили её; она осталась живым свидетелем старины, забытой и тем, кто поёт её теперь под чужим, горящим звёздами небом, в чужих степях...

— Поедем,— говорит отец. Застоявшийся Васька бодро трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге вниз, в лощину; лёгкая пыль слабо взвивается из-под колёс и тут же, будто сонная, падает на слегка росистую траву.

— Папа, знает ли кто-нибудь по-цыгански?

— Сами они, конечно, знают, а из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними.

— Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел... Папа, они язычники?[1] Может быть, он пел про своих богов: как они жили, как воевали...

Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а воображение всё ещё работает и создаёт странные образы в маленькой голове, уже склонившейся на подушку.

Теперь по деревням уже не водят медведей. Да и цыгане стали редко бродить: большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопчённое полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкою лошадей, коновальством и барышничеством[2]. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам[3] Это было в губернском городе: недалеко от больницы и базарной площади, на клочке ещё не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только смуглые глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин,

---

[1] Язычники — последователи язычества — религии, основанной на поклонении многим богам.

[2] Барышничество — торговля, перекупка (часто краденого).

[3] Балаган — здесь: временная лёгкая деревянная постройка для ярмарочной торговли, жилья, зрелищ.

грязные яркие тряпки женщин и нагие бронзовые ребятишки напомнили мне былую картину вольного цыганского табора. Из балаганов слышался лязг железа; я заглянул в один из них: какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый. Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана; он работал с мрачным, сосредоточенным видом, сильно торопясь; это было днём; проходя уже довольно поздно вечером, я подошёл к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города, между земской[1] больницей, базаром, острогом и каким-то плацем[2], где учились солдаты и поминутно раздавалось «на плечо! на караул!» — рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи пыли, занося ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пёстрыми платками цыганки варили какую-то кашицу, и самих цыган, и их голых ребятишек.

Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали своё артистическое искусство: плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба; в последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал своё удовольствие тихим рёвом, полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным, испытанным средством, состоявшим в том,

---

[1] Земская больница — областная больница.
[2] Плац — площадь для военных парадов и строевых занятий.

чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанса уже достаточно продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, причём, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол и сажали там, и радовались его согласию, как доброму знаку; а если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили:

— Шось таке́ е! Бо вин зна!

Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к Бельску двухвёрстным спуском, и, завидев издали место своего несчастия, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, а может быть,— кто знает? — поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые возы, туда, где хохлы привязывают дегтярную *мазныцю с квачем*.

У ворот бельского исправника собралось несколько стариков цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были чёрные или синие суконные бешметы[1] с наборными серебряными с чернью поясами, шёлковые рубахи с узеньким галуном[2] по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узорами голенищами,

---

[1] Бешмет — стёганый расписной полукафтан.

[2] Галун — нашивка из золотой или серебряной тесьмы на одежде.

и большею частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях.

— Спит? — спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган выходившего из двора городового, одного из одиннадцати, обязанных охранять порядок в городе Бельске.

— Встаёт, одевается. Сейчас позовут вас,— отвечал городовой.

Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар; все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках.

— Ничего не будет,— сказал он наконец.— Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга, сам министр приказал. По всем местам медведей бьют.

— Попробуем, Иван, может, как-нибудь...— ответил другой старик.

— Попробовать можно,— отвечал уныло Иван.— Только и денежки он наши возьмёт, и ничем не поможет.

Их позвали к исправнику[1] Они вошли толпою в переднюю, и когда к ним вышел усатый человек в расстёгнутом полицейском мундире, из-под которого была видна красная канаусовая[2] рубашка, старики упали ему в ноги. Они просили его, предлагая ему деньги. Многие плакали.

— Ваше высокоблагородие,— говорил Иван,— сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи — жили мы смирно, никого не обижали... Есть у нас молодцы, что и лихим делом промышляют; да, ваше высокоблагородие, разве конокрадов и русских мало? Никому от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь же что будет?

---

[1] Исправник — начальник уездной полиции.

[2] Канаусовая — шёлковая.

По миру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть. Отцы наши и деды медведей водили; земли мы пахать не умеем; кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами быть, за работой по всей земле ходя, а теперь работа к нам сама не пойдёт. И будут наши молодцы ворами-конокрадами: некуда больше податься, ваше высокоблагородие. Как перед богом говорю, не скрываюсь: большое зло сделали и нам и всем добрым людям, медведей у нас отнявши. Может, вы нам поможете; бог вам за это пошлёт, господин добрый!

Старик упал на колени и в ноги поклонился исправнику. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом, поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман синих рейтуз. Старик достал довольно толстый кожаный бумажник и подал его.

— Не возьму,— мрачно сказал исправник.— Ничего не могу сделать.

— Да вы бы взяли, ваше высокоблагородие,— раздалось в толпе.— Может, что-нибудь... Вы бы написали.

— Не возьму,— громче прежнего сказал исправник.— Не за что. Ничего нельзя. Это закон... Вам пять лет льготы было дано... Что уж тут делать?..

И он развёл руками.

Старики молчали. Исправник продолжал:

— Я сам знаю, какая это беда и вам и нам,— теперь только смотри за лошадьми; да что ж я могу поделать? Ты, дед, спрячь деньги: я даром денег не беру. Вот попадутся мне ваши ребята с конями — не прогневайтесь, но брать даром не в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик: вам деньги пригодятся.

— Ваше высокоблагородие,— сказал Иван, всё держа бумажник в руках,— дозвольте ещё слово выговорить. Позвольте завтра... (его голос задрожал) — позвольте завтра покончить. Истомились

мы, измучились. Две недели я вот пришёл со своими, прожились вовсе...

— Ещё одной партии, старик, нет; надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошёл. Надо разом.

— Да пришли уже, ваше высокоблагородие: как мы к вам пошли — с горы спускались. Сделай такую милость, господин! Не томи ты нас.

— Ну, если пришли, так завтра, часов в десять, я к вам приеду. Ружья у вас есть?

— Есть ружья, да не у всех.

— Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С богом! Жаль мне вас, очень жаль.

Старики пошли к двери, но исправник окликнул их.

— Постойте, эй, вы! Вот я вам что скажу: вы пойдите к аптекарю, Фоме Фомичу,— знаете аптеку, подле собора? — пойдите, скажите, что я вас послал. Он у вас всё сало медвежье скупит: ему оно в мазь пойдёт. И шкуры, может быть. Хорошую цену даст; не пропадать же им так, в самом деле.

Цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку. Разрывались их сердца; почти без торга продали они смертные останки своих друзей. Фома Фомич скупил всё сало по четырнадцати копеек, а о шкурах обещал поговорить после. Случившийся тут же купец Рогачов, надеясь сделать хорошую афёру[1], сторговал все медвежьи окорока по пятачку за фунт.

Вечером того же дня братья Изотовы прибежали запыхавшись к казначееву брату.

— Ольга Павловна, Ольга Павловна, назначили на завтра! Все пришли! Уже и ружья полковник дал,— говорили они наперерыв.— Фома Фомич купил всё сало по четырнадцати копеек фунт. Рогачов окорока...

— Постойте, постойте, Леонид,— перебила

[1] Афёра — жульническое, мошенническое дело.

Ольга Павловна,— зачем Фоме Фомичу медвежье сало?

— Для мазей; превосходная помада для ращения волос.

И при этом Константин рассказал интересный анекдот о том, как некоторый лысый господин, намазывая себе голову медвежьим жиром, вырастил себе волосы на руках.

— И должен был брить их каждые два дня,— заключил Леонид, причём оба брата разразились хохотом.

Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно носила шиньон, и сведения о медвежьем сале пришлись ей по сердцу; и когда вечером аптекарь Фома Фомич пришёл сыграть пульку с её мужем и казначеем, она издалека завела разговор и ловко вынудила у него обещание прислать ей медвежьей помады.

— Непременно-с, непременно-с, Ольга Павловна. Даже с духами. Вы что предпочитаете — пачули[1] или иланг-иланг?[2]

Настало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское утро. Изредка накрапывал мелкий дождь, но, несмотря на него, множество зрителей обоего пола и всех возрастов пришли на луг посмотреть интересное зрелище. Город почти опустел. Все наличные экипажи: одна имевшаяся в городе карета, несколько фаэтонов[3], дрожек и линеек — были заняты перевозкой любопытных; они доставляли их к табору и возвращались в город за новыми партиями. К десяти часам все уже собрались.

Цыгане потеряли всякую надежду. В лагере не было большого шума, женщины забились в шатры

[1] Пачули — дешёвый сорт духов.
[2] Иланг-иланг — духи из цветов, растущих в Индокитае.
[3] Фаэтон — лёгкая коляска с откидным верхом.

вместе с малыми ребятишками, чтобы не видеть казни, и только изредка из которого-нибудь из них вырывался отчаянный вопль; мужчины лихорадочно делали последние приготовления. Они откатывали к краю становища телеги и привязывали к ним зверей.

Исправник с Фомой Фомичом прошлись вдоль ряда осуждённых. Медведи были не совсем спокойны: необыкновенная обстановка, странные приготовления, огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте — всё приводило их в возбуждённое состояние; они порывисто метались на своих цепях или грызли их, глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного кривого медведя. Его сын, пожилой цыган, уже с серебристой проседью в чёрных волосах, и внук, тот самый юноша — Адонис, на которого обратила своё внимание Ольга Павловна, с помертвевшими лицами и горящими глазами торопливо привязывали медведя.

Исправник поровнялся с ними.

— Ну, старик,— сказал он,— прикажи ребятам, чтоб начинали.

Толпа зрителей заволновалась, поднялся говор, крики, но скоро всё стихло, и среди мёртвой тишины раздался негромкий, но важный голос. Это говорил старик Иван.

— Дозволь, господин, добрый, сказать мне слово. Прошу вас, братья, дайте мне первому покончить. Старше я всех вас: девяносто лет через год мне стукнет, а медведей вожу я сызмала. И во всём таборе нету зверя старше моего.

Он опустил седую курчавую голову на грудь, горько покачал ею и вытер кулаком глаза. Потом он выпрямился, поднял голову и продолжал громче и твёрже прежнего:

— Потому и хочу я первый покончить. Думал я, что не доживу до такого горя, думал, и медведь мой любимый не доживёт, да, видно, не судьба: своей рукой должен я убить его, кормильца своего и

благодетеля. Отвяжите его, пустите на волю. Никуда не пойдёт он: нам с ним, старикам, от смерти не бегать. Отвяжи его, Вася: не хочу убивать его, как скота на привязи. Не бойтесь,— сказал он зашумевшей толпе,— не тронет он никого.

Юноша отвязал огромного зверя и отвёл немного от телеги. Медведь уселся на задние лапы, спустив передние вниз, и раскачивался из стороны в сторону, тяжело вздыхая и хрипя. Он был действительно очень стар; его зубы были желты, шкура порыжела и вылезла; он дружелюбно и печально смотрел на своего старого хозяина единственным маленьким глазом. Кругом была мёртвая тишина. Слышно было только, как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заряжаемых винтовок.

— Дайте ружьё,— твёрдо сказал старик.

Сын подал ему винтовку. Он взял её и, прижимая к груди, начал говорить снова, обращаясь к медведю:

— Убью я тебя сейчас, Потап. Дай боже, чтоб старая рука моя не дрожала, чтобы попала тебе пуля в самое сердце. Не хочу я мучить тебя, не того ты заслужил, медведь мой старый, товарищ мой добрый. Взял я тебя маленьким медвежонком, глаз у тебя был выколот, нос от кольца гнил, болел ты и чах; я за тобой, как за сыном, ходил и жалел тебя, и вырос ты большим и сильным медведем; нет другого такого во всех таборах, что здесь собрались. И вырос ты и не забыл добра моего: между людьми у меня друга такого, как ты, не было. Ты добр и смирен был, и понятлив, и всему выучился, и не видел я зверя добрее и понятливее. Что я был без тебя? Твоею работою вся семья моя жива. Ты справил мне две тройки коней, ты мне хату на зиму выстроил. Больше ещё сделал ты: сына моего от солдатчины избавил. Большая наша семья, и всех, от старого до малого младенца, ты в ней до сих пор кормил и берёг. И любил я тебя крепко и не бил

больно, а если виноват в чём перед тобою, прости меня, в ноги тебе кланяюсь.

Он повалился медведю в ноги. Зверь тихо и жалобно зарычал. Старик рыдал, вздрагивая всем телом.

— Бей, батюшка! — сказал ему сын.— Не рви нам сердце.

Иван поднялся. Слёзы больше не текли из его глаз. Он отвёл со лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал твёрдым и звонким голосом:

— И вот теперь я убить тебя должен... Приказали мне, старик, застрелить тебя своей рукой; нельзя тебе больше жить на свете. Что же? Пусть бог на небе рассудит нас с ними.

Он взвёл курок и твёрдой ещё рукой прицелился в зверя, в грудь под левую лапу. И медведь понял. Из его пасти вырвался жалобный отчаянный рёв; он встал на дыбы, подняв передние лапы и как будто закрывая ими себе глаза, чтобы не видеть страшного ружья. Вопль раздался между цыганами; в толпе многие плакали; старик с рыданием бросил ружьё о землю и бессильно повалился на него. Сын бросился подымать его, а внук схватил ружьё.

— Будет! — закричал он диким, исступлённым голосом, сверкая глазами.— Довольно! Бей, братцы, один конец!

И, подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой; только лапы его судорожно вздрогнули, и пасть раскрылась, как будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Лёгкий ветер относил дым к реке.

— Сорвался! сорвался! — раздалось в толпе. Как стадо испуганных овец, все кинулись врассыпную. Исправник, толстый Фома Фомич, мальчишки,



Леонид и Константин, барышни — всё бежало в паническом страхе, натыкаясь на шатры, на повозки, падая друг на друга и крича. Ольга Павловна едва не упала в обморок, но страх придал ей сил, и она, подняв платье, бежала по лугу, не думая о беспорядке в костюме, причинённом поспешным бегством. Лошади, запряжённые в ожидавшие господ экипажи, начали беситься и понеслись в разные стороны. Но опасность была вовсе не так велика. Обезумевший от ужаса зверь, не старый ещё тёмно-бурый медведь с обрывком цепи на шее, бежал с удивительной лёгкостью; перед ним всё расступалось, и он мчался, как ветер, прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали за ним. Попадавшиеся на улице немногие пешеходы прижимались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота. Ставни запирались; всё живое попряталось; исчезли даже собаки.

Медведь нёсся мимо собора, по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться, но всё было заперто. Он промчался мимо лавок, встреченный неистовым криком приказчиков, которые хотели его испугать, пролетел мимо банка, прогимназии, казармы уездной команды, на другой конец города, выбежал на дорогу на берег реки и остановился. Преследователи отстали. Но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. Исправник и полковник ехали на дрожках, с ружьями в руках; цыгане и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых дрожек бежали Леонид и Константин.

— Вот он, вот он! — закричал исправник.— Жарь, катай его!

Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя; в смертельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от города, вверх по Рохле, куда бежал он, находится большая водяная мельница, со всех сторон окружённая небольшим, но густым лесом; зверь направлялся туда. Но, запутавшись в рукавах реки и плотинах, он сбился с дороги; широкое про-

странство воды отделяло его от густой дубовой заросли, где он, может быть, мог бы найти если не спасение, то отсрочку. Но он не решился плыть. На этой стороне густо разросся странный кустарник, растущий только в южной России, так называемый люциум. Его длинные, гибкие, ветвистые стебли растут так густо, что человеку почти невозможно пройти сквозь заросль; но у корней есть щели и прогалины, в которые могут пролезать собаки, а так как они часто ходят туда спасаться от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в густой заросли образуется со временем целый лабиринт ходов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи, смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал оцепить место, где скрылся зверь.

Несчастный забился в самую глубину кустов; рана его от пули, сидевшей у него в ляжке, сильно болела; он свернулся в комок, уткнув морду в лапы, и лежал неподвижно, оглушённый, обезумевший от страха, лишавшего его возможности защищаться. Солдаты стреляли в кусты, думая задеть его и заставить зареветь, но попасть наугад было трудно.

Его убили уже поздно вечером, выгнав из убежища огнём. Всякий, у кого было ружьё, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя, и когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась.

Недавно мне случилось побывать в Бельске. Город почти не изменился: только банк лопнул, да прогимназия превратилась в гимназию. Исправника сменили, дав ему за распорядительность место частного пристава в губернском городе; братья Изотовы по-прежнему кричат «гранрон» и «оребур» и бегают по городу с рассказами о самых свежих новостях; аптекарь Фома Фомич потолстел ещё

больше и, несмотря на то, что сделал выгодное дело, скупив медвежье сало по четырнадцати копеек, а продав его по восьми гривен фунт, что дало в целом немалую сумму, до сих пор с большим неудовольствием говорит об избиении медведей.

— Говорил я вот тогда Ольге Павловне, какой из этого Адониса конокрад выйдет... Ну, и что же? Недели не прошло — свёл мою пару серых, мерзавец.

— А вы знаете, что это он? — спросил я.

— Как же не он? Ведь его судили в прошлом году за конокрадство и разбой. На каторгу пошёл.

— Ах, как мне было его жаль! — грустно сказала Ольга Павловна.

Бедная дама порядочно постарела за эти годы и, несмотря на то, что, по словам Фомы Фомича (который сказал мне это по секрету), она вымазала на свою голову фунта четыре медвежьей помады, волосы её не только не стали гуще, но даже поредели. Впрочем, шиньон так хорошо закрывает их, что решительно ничего не заметно.

1883 г.



OCR: Угленко Александр

10 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1984 году в серии «Книга за книгой» для младшего школьного возраста выходят в свет такие произведения фольклора и русских писателей-классиков:

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.

Былинный сказ

Телешов Н. ЗОРЕНЬКА.

Сказки

Тютчев Ф. КОНЬ МОРСКОЙ.

Стихи.

Для младшего школьного возраста

Всеволод Михайлович Гаршин

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Сказки и рассказ

ИБ № 7714

Ответственный редактор *Н. П. Посвянская*. Художественный редактор *Б. А. Дехтерёв*. Технический редактор *Г. Г. Рыжкова*. Корректор *Г. В. Романова*. Сдано в набор 22.05.84. Подписано к печати 09.10.84. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. книжно-журн. № 2. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,0. Усл. кр.-отт. 3,5. Уч.-изд. л. 2,18. Тираж 2 400 000 экз. (1-й завод 1—1 000 000 экз.). Заказ № 5421. Цена 10 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущёвский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»